

Поэт и есениновед из Пензы Валерий СУХОВ взял у Захара Прилепина интервью, в котором известный писатель и филолог размышляет о Есенине и Лермонтове.

– Захар, по своему опыту знаю, что поэта начинаешь любить с какой-то одной его запомнившейся строчки или впервые прочитанного стихотворения. С чего и когда началось ваше приобщение к есенинской поэзии?

– Мне было девять лет – моя семья переехала из деревни Ильинки Рязанской области, где я родился и подрастал, в Дзержинск – крупнейший заводской город Союза. Смена климата (во всех смыслах) была настолько, видимо, тревожной для детского рассудка, что, дабы восстановить баланс, я начал читать ненормально много стихов. Началось всё, естественно, с Есенина, потому что земляк, потому что мы уже были с отцом в Константинове, потому что его портрет висел в деревенском доме на стене и отец пел множество песен на его стихи под семиструнную гитару. Даже не пел – а играл, прочитывая речитативом первую строку, потом пятую, седьмую, одну из строк могла произнести мать или зашедший в гости товарищ – всё это воспринималось как стихотворение Есенина, в этом было некое волшебство.

Помню, естественно, с самого детства прекрасное, и сладостное, и горестное удивление от стихов «Песнь о собаке», «Лисица», «Корова». Старики мои рязанские и липецкие тоже держали скотину, дед по матери был охотник, собаки были у него всегда, щенков он топил в пруду – это все были мои личные реалии. Стихи Есенина были про мою корову и про мою собаку. Лисьих шкур у деда всегда висело на стенах множество – он бил и этого зверя. Да и вообще всё, что происходило у Есенина, было моим: долины его, лошадки, сенокосы, табуны – я среди этого рос...

Хотя сейчас понял, что заскочил вперёд, и вдруг вспомнил: Есенин начался ещё раньше. Мы с матерью сидим на крыльце нашего дома

в деревне; мне, видимо, нужно стихотворение о Родине в школе, я первоклассник, на дворе 1981 год.

Она читает: «...хаты, в ризах образа». Я пытаюсь запомнить... Все предыдущие строфы помню, а эти «...в ризах образа...» не могу понять: икон в нашем доме не было (были у бабушки; всегда, в самые махровые советские годы горела лампадка, я был крещён в 1975 году). И чтобы запомнить, произношу всё это в одно слово «хатывризахобраза». Как заговор. Так с тем заговором и жил дальше.

Сочинять я начал в году, кажется, 1985-м – стихи. Отец послушал, сказал: нужны образы, сравнения, сынок.

– Что это, папа?

Он открыл наугад Есенина и прочитал:

О, Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку...

С этого урока для меня началась литература.

Только в прошлом году вдруг обратил внимание, что две другие строки гласят:

Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску.

Синь, видите ли, упала в реку, а тоску любит уже – озёрную. Непорядок, грубо говоря.

Но Есенин – гений. Он мог себе позволить такое. И позволял иногда...

В 14 лет я знал наизусть едва ли не все его стихи – по крайней мере на спор мог продолжить любое и сказать, в каком году оно сочинено.

– А сейчас что у Есенина вы чаще всего перечитываете? Что кажется особенно актуальным? Почему?

– Перечитываю что-то постоянно, но более всего люблю Есенина имажинистского периода: «Пугачёва» – гениальную, как и «Тарас Бульба», гулевую, бунтарскую поэму. Ещё – «Исповедь хулигана». И самую интимную лирику – что-то из раннего, что-то из «Москвы кабацкой», что-то из совсем позднего.

Крайне актуальна «Страна негодяев», конечно. «Сельский часослов» удивителен. Ряд революционных поэм 1917–1919 годов (хотя далеко не все) ещё не раз заново прозвучат в нашей жизни, всё это есенинское, той поры скифство, его дерзкое презрение к столичным либералам и оголтелым западникам (на тот момент они обитали в основном в Питере, сейчас, напротив, базируются в Москве) – я всё это очень понимаю и невольно примериваю на себя.

Читая и перечитывая Есенина всю жизнь, понял однажды, что поэзия – не просто мастерство: я сам сейчас могу написать на спор лирическое или патетическое стихотворение за 15 минут, с отличными рифмами, лёгкое и стремительное, – но никакого удовольствия от результата не получу.

Писать стихи можно научиться, если всю жизнь читаешь поэзию и помнишь сотню-другую чужих стихов наизусть.

Но есть одна вещь, неподвластная любому мастеру: волшебство. Склеить можно – но не у всякого склеенное полетит.

У Есенина – летит почти всегда.

Он обладал волшебством, у него имелось что-то незримое, что невозможно разобрать на составляющие, – абсолютная, почти недостижимая интонация чистоты и прозрачности каждого чувства.

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу –
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Или:

Не криви улыбку, руки теребя, –
Я люблю другую, только не тебя.

Можно же с разгону ещё сто сорок вроде бы почти таких же строк нагнать.

А волшебство не повторится. Будет ускользать из самых рук.

Я бросил стихи писать уже в двадцать лет, когда понял, что я могу сочинять много лучше, чем многие мои именитые современники, но волшебства нет.

Иногда мелькнёт, и – раз, сразу пропало.

А у Есенина – горлом шло. Лило из него.

Его гениальность для меня очевидна. Люди, отрицающие его гениальность, смешны.

Это, знаете, бывают персонажи, вовсе не понимающие музыки, – им ставишь Мусоргского или Свиридова – и понимаешь: они не слышат вообще.

Но – «мнение имеют».

О Есенине в каком-то смысле уже не надо иметь мнение, как не обязательно иметь мнение о радуге, о русском лесе, о русском поле.

– **Ваш день рождения мистически совпадает с днем рождения Есенина (по творимому им поэтическому мифу о себе) и Мариенгофа, нет ли у вас такого чувства, что именно два этих поэта ведут вас по жизни?**

– Наверное, что-то в этой дате есть, вы верно подметили.

Я заметил это не так давно, в том числе потому, что свой день рождения до 30 лет не отмечал ни разу.

И потом вдруг меня осенило:

Матушка в Купальницу по лесу ходила...
...Охнула кормилица, тут и породила,

– я эти стихи знал наизусть с детства, и только много лет спустя понял, что Есенин описал свой день рождения – в мой, сдвинув его с октября на 7 июля – на разгар лета, середину года, цветенье и разгул природы. Это такое подсознательное желание было у него – не на осени «поженимся», которая утащит в опадание и смерть, а на кипящем лете купальском.

А ещё некоторое время спустя я обнаружил, что первейший и самый главный друг и собрат Есенина – Анатолий Мариенгоф – родился именно 7 июля и тоже об этом писал. Всё это не могло меня не позабавить.

В этой дате есть своя мистика. Я совсем к мистике не склонен, но здесь не могу удержаться от некоторой почти детской гордости: Есенину желалось родиться в день, который мне достался за так.

Родство же моё с Мариенгофом – странное: в сущности, он чуждый мне человек, но на каких-то поворотах, в каких-то находках, я вдруг понимаю, что сталкиваюсь с ним плечами: его стихи 1921–1924 годов, его «Циники», его «Шут Балакирев» – это абсолютно моя эстетика, это ровно тот выход из символизма, акмеизма и футуризма (все три школы были мной добросовестно пройдены), который странным образом оказался лично мне ближе всех.

Не путь надмирный, где всякую даму, а то и зверя надо писать с прописной, не акмеистская предметность, не футуристская тарабань-табань-барабань – а томительная, приправленная цинизмом, человеческая искренность. Короче, всё то, чему Есенин так умело и душевно научился именно у Мариенгофа.

Просто у Мариенгофа часто много случалось от ума (но не всегда), а Есенин вдруг «поженил» новаторскую рифму и эстетику Мариенгофа с рязанским природным чувством – и та самая «Исповедь хулигана» родилась.

Впрочем, и у Мариенгофа есть свои шедевры: «Разочарование», «Утихни, друг, прозрачен чай в стакане...», «Какая тяжесть...», «Друзья».

Это ещё не очень прочитанный и не очень понятый поэт. И влияние его на Есенина не изучено в полной мере – оно гораздо шире, чем мы это представляем. Причём не только на Есенина, но и на огромную часть современной поэзии той поры.

Скоро я об этом напишу.

– В романе «Обитель» Артем Горяинов, искупавшись в озере, погибает именно в день вашего рождения, когда отмечают праздник Ивана Купалы. Кто-то из уголовников «саданул под сердце финский нож». Что это? Акт очищения души? Или осознание того, что герой должен расплатиться сполна за свое преступление – отцеубийство?

– Мне никогда в голову не приходило думать над поступками своих персонажей, я совершенно не знаю, отчего всё случилось так, а не так.

Я открываю страницу, пишу первое слово (оно самое сложное), а потом вдруг пальцы начинают танцевать сами на клавиатуре. Самое главное тут не думать ни о чём, а бежать вслед за персонажами: они сами идут.

К финалу романа стало ясно, что его зарежут, и его зарезали. Про финский нож я не подумал – но это вы очень точно подметили.

Есенин и Мариенгоф всё время бродили как тени на втором плане романа и, видимо, какие-то свои рифмы незримо предлагали.

...конечно, он должен был расплатиться, этот Артём. А как же? Конечно. Но это я только сейчас понял из вашего вопроса.

– Когда я читал «Обитель», то у меня рядом лежали тома из собраний сочинений Есенина, Мариенгофа (спасибо вам с Олегом Демидовым за него), сборник «Поэты-имажинисты», а также книги Ницше и Фрейдя. Мне показалось, что без них трудно понять смысл глубинного подтекста этого романа.

Прав я или нет? Мне показалось, что Артем живет как ницшеанец – «по ту сторону добра и зла». Может быть, именно это его сближает с «Черным человеком» Есенина?

– В первой части вопроса – правы, во второй – нет. Чёрный человек – это убийца, это твоя собственная душа, которая выгорела, которая богооставлена, и она не даёт тебе жить, съедает тебя, утаскивает тебя за собой.

Хотя иные и с такой душой живут.

Артём же – он живёт по эту сторону добра, по крайней мере – стремится жить. Его мотивации – это неукротимое стремление к выживанию.

Но, видимо, где-то раз и два он заступает за дозволенную грань в своём животном, лёгком, как есенинская поступь, движении по краю. Заступает – и это ему не прощается.

Он вроде бы побежал уже дальше, но след оставил, и по этому следу его находят, хватают за ногу, тащат назад. Ибо виноват, провинился, накосячил, сподлил.

Но где именно это случилось, я сам не знаю.

Ницше и Фрейд не самые дурные в этом смысле помощники. Но и не самые надёжные. Книга «Поэты-имажинисты» – куда надёжней.

Артём – имажинист, конечно.

Это вот соединение человеческой звериной нежности и лёгкого, легкокрылого цинизма – абсолютно имажинистское качество.

– Можно ли согласиться с тем, что Артем Горяинов на практике доказал правоту Зигмунда Фрейда, написавшего статью «Достоевский и отцеубийство»? Ведь в 20-е годы Фрейд был очень популярен в России. Им увлекались и Есенин, и имажинисты. Не этим ли объясняется воспаленный эротизм их имажей и особая эrogenная пульсация текста «Обители»?

– Не прямые ассоциации – но, безусловно, есть. Над этим стоит подумать.

– Читая «Обитель», я постоянно вспоминал строки из есенинского стихотворения «О родина!» (1917):

Люблю твои пороки,
И пьянство, и разбой,
И утром на востоке
Терять себя звездой.
И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклиная
За то, что ты мне мать.

Мне кажется, если бы Есенин выжил той роковой ночью, то он в конце двадцатых или в тридцатые оказался бы на Соловках.

Может быть, именно поэтому есенинский дух так зримо присутствует в тексте книги?

– Не очень уверен, что Есенин оказался бы на Соловках, – это всё, в сущности, досужие домыслы, да? Есенин в 1924 году совершил совершенно осознанный поворот к большевизму (после некоторого разочарования 1919–1923 гг.), но этот поворот убил его ровно точно так же, как Гоголя убил второй том «Мёртвых душ». Он понимал, что правда где-то здесь, но справиться с этим не смог.

Тут какая-то страшная судьба сберегла его – как Пушкина, или Лермонтова, или Блока, или Маяковского, в какой-то степени Твардовского, а отчасти, как ни странно, даже Бродского, хотя и в меньшей степени, и Юрия Кузнецова ещё – заключить с властью тот союз, который соединил бы его не только с тем святым духом, что ведёт всякую русскую власть, но и с тем демоном, что движет её деяньями столь же неукоснительно...

Каждый из них по-своему был к этому готов – и каждого лишили этой роли: во славу чистоты поэтического престола.

Но в целом у Есенина после его «персидской поездки», после встреч с Троцким, Фрунзе, Кировым был огромный шанс и на встречу со Сталиным, и на внимание Сталина – в 30-е он смог бы претендовать на роль главного поэта эпохи, оспорив её у Маяковского, а затем Пастернака.

Если б не алкоголь – крестьянской смекалки у него хватило бы, чтоб Прокофьев, или Сурков, или Исаковский, или всё тот же Твардовский просто потерялись бы в его тени.

Но то был бы уже не Есенин. Таких же стихов у него не было бы: совесть бы выгорела куда быстрей.

Гибель его была предопределена не кровавым кошмаром Советов, а тем, что он был Есенин. Он бы не выжил ни в одну эпоху. Разве мы можем представить его долгую, спокойную жизнь во времена некрасовские? В наши времена? Ему нигде нет места и приюта.

Есенин – русский поэт в чистейшем виде. Свои Соловки он всегда носил с собой. И всегда будет носить.

– Захар, мне как читателю очень хотелось бы узнать, как родилась идея начать роман с пролога, который я бы назвал «Притча о тулупе». Начало романа – очень мощно в художественном плане. Здесь – ключ к смыслу повествования. И как тут вновь не вспомнить строки Есенина?

Под Маврикийским дубом
Сидит мой рыжий дед,
И светит его шуба
Горохом частых звезд.

Архетипичность этого образа проявляется, когда автор видит, как его руки напоминают руки деда. Напомню это место: «Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с седыми латунными ногтями пальцы прадеда».

У Юрия Кузнецова есть потрясающее стихотворение о том, как на его ладонях проступают лица отца и матери:

...Я от брата и от друга бегу
И дышу на ладони.
Проступают на них два лица:
И чело и морщины.
Узнаю свою мать и отца.
Мы навек триедины!

Так рождается образ-миф: «лица – ладони». Можно ли воспринимать ваш образ из «Обители» как архетипический?

– Да. Тут, скорее, меня радует ваша прозорливость, чем своя.

И остаётся только гадать, что тут на всё случившееся на меня повлияло больше: моё прочтение и осознание Есенина и Кузнецова, которого я считаю гениальным поэтом, или какие-то действительно архетипические коды?

Пролог написан случайно, поверьте. Я написал первые двести страниц романа, потом мне как щелкнули по лбу: нужен пролог. Я взял и за полчаса написал этот пролог.

Было смутное чувство, что роман не должен звучать как исторический, а должен читаться как современный. Ну или, как бы нелепо это ни звучало, – вневременной.

Поэтому, когда добрёл до финала романа, получил ещё один щелчок: нужен эпилог.

А эта «шуба» с её звёздами, с её махоркой, с её тайными путями в дедовских рукавах, где так легко заблудиться, а то и потеряться, – она была в моём доме, я её не взял поносить у Есенина в займы.

– В романе «Обитель» много смелых, эпатажирующих читателей эпизодов. В каждый из них автор вкладывает глубокий смысл.

Многих может шокировать изображение мастурбирующего Артема, преодолевающего таким образом свой половой голод. Так рождается самая смелая имажинистская метафора: Млечный Путь в ночном небе – след Божьей спермы. Так половой голод обретет космический, вселенский характер и символизирует бесплодность и бессмысленность существования главного героя, на котором обрывается род Горяиновых. Семья, как в Библии, упало на землю...

Возможно, именно в этом смысл фамилии героя. Вспоминается в связи с этим и шукшинский герой из «Калины красной» Егор Прокудин, по прозвищу Горе.

Есть ли между ними какая-то связь?

– Надо же, о Прокудине даже не думал.

Но, думаю, внутренние побуждения Шукшина и меня, грешного, были идентичны.

Шукшин писал архетип русского человека – грешного, вороватого, злого порой, – но Шукшиным мучительно любимого за страсть, за широту, за вживчивость, за силу хватки и за лёгкость, с которой он свою грешную и горестную жизнь от себя отпускает. Герой этот не в ладах с заповедями, он совсем не религиозен – и вместе с тем он никак, по сути своей, не атеист. Его горе, которое он несёт на своих плечах, как крест свой, может вдруг, в какой-то момент, позволить этому герою быть осенённым светом человеческой святости... Но может и не позволить.

Естественно, что во многом и я о том же и то же самое писал.

Есть, как минимум, ещё один общий момент в «Обители» и в «Калине красной» – отказ Прокудина встречаться с матерью: он не может к ней таким грязным прийти, с такой надорвавшейся душой.

У Артёма чуть иные мотивации – он вообще не рефлексирует в данную минуту, он откуда-то знает, что нельзя, бежит этого как слишком человеческого, слишком душевного, – однако по факту схожи у Прокудина и Горяинова даже их ключевые поступки.

Горяинов тоже погладил ногу героине – помните, как в фильме Шукшина он это делает случайной прохожей? (В киноповести не помню такого момента.)

Наконец, у Шукшина тоже появляется Есенин – как камертон: в фильме с песней «Ты жива ещё, моя старушка», а в киноповести – с «Песней о хлебе» (пророческой, потому что там колос, как лебедя, срезают под горло, – этот колос Прокудин и есть). И Горяинов, естественно, тоже.

При этом я, повторюсь, не помнил об этом, не продумывал «рифму» с Прокудиным: само срифмовалось, и спасибо, что вы подсказали это.

А разница, например, в том, что Прокудин уже прожжённый, что он уже – Горе и пытается это горе избыть, избавиться от него; а Артём ещё только опаляющийся, ещё в горе своё ступающий, ещё только начинающий черпать его то одним бортом, то другим.

– Тулуп деда вспоминаешь, когда герой проходит через адские пытки холодом на Секирке. Захар, а верите ли вы в то, что когда-то молодое

поколение начинающих писателей будет говорить о себе: «Все мы вышли из прилепинского тулупа».

– Не уверен, что кто-то будет так говорить, в том числе и потому, что тулуп этот – личный мой, его присвоить нельзя и примерить тоже сложно, если своего не было.

В своё время Есенин написал: «Я последний поэт деревни». Предчувствие его было точным, хотя, если совсем строго и по факту, он последним, конечно, не был: деревня ещё успела дать великого поэта Бориса Корнилова, несколько поэтов рангом пониже, и удивительное поколение почвенников: Василия Белова, Фёдора Абрамова, всё того же Шукшина – они, конечно же, тоже были поэтами деревни, и тоже последними. Потому что в минувшую четверть века та деревня, о которой писал Есенин, та деревня, что была дана нам Валентином Распутиным, та деревенская речь и тот деревенский, по Белову, лад – распался почти уже до конца. И, родившийся в 1975 году, я ещё посидел там, на краешке завалинки, ещё послушал речь деда, родившегося в 1914 году, бабушки, знавшей на память самые разные причеты, и прадедов тулуп обыскал, обнюхал – который был, был, и я помню, как примеривал его рукава, забираясь туда не руками, а детской головой...

То есть той деревни, где Есенин вырос, – я тоже последний поэт.

И, если вдруг чуда не случится, я не очень верю, что появятся какие-то новые деревенские ребята: сочинители и певцы своей родины. Я знаю несколько совсем молодых поэтов, физически родившихся в деревне, причём хороших поэтов, но они выросли в те времена, когда всего того, о чём я выше говорил, уже не было: лад распался, тулуп выкинули, речь расплылась... Они черпали свои силы уже из другого...

Однако отрицать своё влияние на часть поколения я не буду. Сам, признаться, я не всегда это влияние вижу, но меня порой внимательные люди пихают под локоть: мол, ты не видишь, откуда этот, а ещё вон тот взял эту витальность, эту словесную походку, эту интонацию, эту улыбочивую манеру?

Тогда я присматриваюсь и вдруг вижу: да, что-то есть, вроде что-то есть. Какие-то повадки мои, какие-то жесты оказались заразительными.

– **Захар, а читали ли вы цикл стихов нижегородца Фёдора Сухова «Соловки»? Мне кажется, в них многое созвучно роману «Обитель».**

Вот отрывок из его стихотворения «Секирная гора»:

Здесь осины светлы, как березы,
А березы не так уж светлы.
Сгибших узников жгучие слезы
Обожгли всем березам стволы...

Без Есенина и Клюева не было бы такого самобытного, истинно русского поэта.

– Я читал Фёдора Сухова, знаю этого поэта, но почему-то именно «Соловки» прошли мимо меня. Обязательно найду теперь и прочту.

– **Захар, а когда вы напишете свою книгу о Есенине?**

– Рискну, попробую сделать своего Есенина – книгу о нём для серии «Жизнь замечательных людей». Я высоко ценю некоторые работы, которые написаны о нём: и книгу Куняевых, Сергея и Станислава Юрьевича, и книгу Лекманова и Свердлова, в гораздо меньшей степени жизнеописание Марченко, впрочем, тоже фрагментами достойное... Но у меня есть свои, нажитые уже десятилетиями расшифровки его жизненных перепутий, дружб и творений.

Буду, даст бог, писать об этом.

Пока же, как первый подступ к теме, я написал книгу «Портреты советских поэтов: Луговской, Мариенгоф, Корнилов». И если связь Луговского с Есениным едва просматривается, то Корнилов уже числится как один из его наследников, что до Мариенгофа – тут всё ясно.

Я собрал воедино и переработал всё, что до сих пор писал о Мариенгофе сам, и дописал ещё вдвое больше, в том числе там будет несколько главок об их отношениях с Есениным.... То есть путь начат, пойдю потихоньку дальше.

– **Захар, а в каком возрасте вы начали читать Лермонтова?**

– Он естественным образом присутствует в моей жизни с того момента, когда явилось мне печатное слово. Думаю, лет с пяти. И это, конечно же, «Бородино» – была у меня такая детская книжка с картинками, совершенно меня зачаровавшая.

В конечном итоге, возможно, что всё происходящее со мной – это оживающие картинки этой книжки детской. Самое сильное впечатление с юности и по сей день – «Герой нашего времени», одна из самых любимейших моих книг из всех существующих. Изящная, остроумная, лёгкая, аномального мастерства. Чистое волшебство.

– **Оказал ли Лермонтов какое-то влияние на вас как на писателя? Ведь в романах «Патологии», «Санька», «Черная обезьяна» вы создали образы героев нашего времени.**

– Не думаю, что стоит вести речь о прямом влиянии или о каких-то лермонтовских реминисценциях. Но Лермонтов – это явственный камертон, когда речь идёт, во-первых, о писательском голосе, а во-вторых, о писательской судьбе. На него оглядываешься так или иначе. Если Пушкин воспринимается как мудрый, добрый и, пожалуй, улыбчивый собеседник, то Лермонтов – как собеседник немногословный и... строгий. Под его взглядом не хочется быть суетливым и слабым.

– **В предисловии к книге «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», вы пишете: «Блестящие поручики отправлялись на Кавказ – но что всё-таки они там делали? Да, вели себя рискованно, словно кому-то назло. Но кто в них стрелял, в кого стреляли они? Что это за горы такие? С какой они горы?**

С кавказской горы горцы – опасные люди. Михаил Юрьевич, вы бы пригнулись...» Лермонтов назван, но не стал одним из героев этой книги. Почему?

– Объяснение достаточно банальное: у меня даны жизнеописания литераторов (и военных), родившихся до 1799 года. О воевавших литераторах, родившихся в XIX веке, я хотел бы написать ещё один том: Лермонтов, Бенедиктов, Хомяков, Лев Толстой, Гаршин и так далее. Судьба Лермонтова меня не просто увлекает – она меня зачаровывает.

– **Не вступает ли в противоречие поведение Лермонтова на Кавказе, когда он командовал отрядом отчаянных рубак, с такими его строками в стихотворении «Валерик»:**

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

– Да нет, конечно, не вступает. Если поэт воюет, это вовсе не означает, что у него должна быть психология мясника. В том и состоит гений Лермонтова и суть любого из персонажей того же «Взвода», что рефлексии, гуманизм и огромная сердечная отзывчивость более чем органично сочетались в их случае с безупречной офицерской выправкой и чёткими представлениями о мужестве.

Русской литературе надо наследовать этому во всей полноте – сложная задача, зато и крайне увлекательная.

– Что нового в Лермонтове открылось для вас во время съемок в фильме «Записки о горных нравах» на Северном Кавказе?

– Мы скорее шли по следам в географическом смысле, чем занимались исследовательской работой. Мне хотелось увидеть то, что видел Лермонтов, проехать его маршрутами. Это было отличное путешествие.

– Что сближает Лермонтова с поэтами Кавказа? Почему К. Хетагуров, К. Кулиев и Р. Гамзатов так любили его творчество?

– Герман Садулаев, замечательный писатель чеченского происхождения, сказал мне как-то, что Лермонтов – это первый чеченский писатель. Можно взять шире и сказать, что Лермонтов – первый кавказский писатель. Кавказ увидел себя его глазами и понял, как можно говорить и петь о себе, поймал интонацию.

– **Есенин неоднократно подчеркивал, что Лермонтов был одним из его самых любимых поэтов. В «маленькой поэме» «На Кавказе» (1924) Есенин вспоминал своих великих предшественников, в творчестве которых Кавказ сыграл особую роль. После Грибоедова и Пушкина он обращается к образу Лермонтова, подчеркивая необычный характер поэта:**

И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру вместо злата.
За грусть и желчь в своем лице
Кипенья желтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

А как соотносятся в вашем сознании Лермонтов и Есенин? Что их сближает, а что отличает? О чем «...звезда с звездой говорит»?

– У раннего Есенина в смысле стилистическом есть самым очевидным образом написанные «под Лермонтова» стихи. Кроме всего прочего Есенина на тот момент привлекала переосмысленная Лермонтовым «байроническая поза», которая, впрочем, Есенину совершенно не шла.

Истинное влияние – это уже случай позднего Есенина. Помните, когда он берёт эту щемящую лермонтовскую ноту: «Пусть она услышит, пусть она поплачет. / Ей чужая юность ничего не значит». Я бы говорил здесь о спокойном предчувствии скорого ухода в иной мир и христианском смирении в связи с этим. Есенин в смысле «музыкальном» научился подобному горькому, но тишайшему стоицизму у Лермонтова. Хотя, если говорить о человеческой сути, о человеческом характере, Есенин, конечно же, куда более, скажем так, расхристанный, «раздёрванный». И сам он, думаю, знал об этом.

Лермонтов шёл к своему финалу, не меняясь в лице, снисходительный к смерти, с аномальной выдержкой. Есенин мучился и метался, но за шаг до неизбежного принял всё и простил всех.

– Предопределена ли была трагическая гибель Лермонтова строчками стихотворения «Сон», написанного в 1841 году («В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я»)? Как жизнь поэта подчиняется поэтическому слову, превращаясь в житиетворчество?

– Не знаю, что и чему подчиняется: судьба ли слову или слово судьбе, просто иного Лермонтова я и вообразить не могу: иной его жизни, возможности старости для него. И короткая жизнь его даёт всему написанному им иной ответ: мы никогда не сможем усомниться в честности Лермонтова, в том, что он отвечает за каждую строчку свою. Чего о многих поэтах последующих времён, в том числе иных наших современниках, не скажешь. Они вроде бы и тоскуют так же, и интонацию выдерживают, а прислушаешься и думаешь: врешь ты всё, братец, не пытайся меня разжалобить, тоска твоя липовая, и сам ты поддельный.

– Захар, Лермонтовскую премию вы получили 7 июля, в день своего рождения. Видите в этом какой-то символический смысл?

– Я воспринимаю это как благословение на то, чтобы писать о Лермонтове. И очень хочу это сделать.

– Захар, я искренне желаю воплощения ваших творческих замыслов. Будем ждать биографию С. Есенина в серии ЖЗЛ и второй том книги «Взвод», где ключевым станет образ Лермонтова.

Пенза –Тарханы, 2015–2018